

Самид АГАЕВ

# КОЛОДЕЦ

## Эклога лесная

Сразу за мостом Верещагин, помня объяснения, повернул направо и вдоль заброшенного пионерского лагеря, лежащего на склоне холма, стал подниматься вверх. Дорога была выложена бетонными плитами, и колеса автомобиля неровно постукивали по стыкам. Вскоре бетонка повернула, огибая территорию бывшего пионерлагеря. Он проехал прямо, по грунтовой дороге, оставляя позади облако пыли. Стоял сухой солнечный день. Перед поездкой его предупредили, что в дождливую погоду дорогу развезет и проехать будет невозможно. По обе стороны лежали поля с еще неубранной пшеницей. Верещагин сбавил скорость, борясь с желанием остановиться, выйти из машины и упасть в пшеницу. Упасть, раскинув руки, закрыв глаза, лежать, слушая шепот качающихся над головой колосьев. Но не остановился, не упал, не раскинул, поехал дальше, говоря себе — некогда, некогда.

У леса он повернул и через сотню метров увидел слева поляну, отделявшую лес от дороги. До полной иллюзии не хватало лишь пастушек, но на поляне росли молоденькие березки, похожие на них. Верещагин включил барахливший радиоприемник и стукнул по нему, тот молчал. Верещагин вздохнул и стал негромко напевать: «Куда, куда, куда вы удалились...» Ему было тридцать два года, он считал себя уставшим от жизни человеком, которого ничего хорошего больше не ждет в этом мире. Впереди лежал глубокий овраг с белым руслом пересохшей реки. Легко скатился вниз, но на подъеме мотор его старенькой машины взревел, глушитель чиркнул по земле. У Верещагина была первая модель «Жигулей» отвратительного желтого цвета. Он давно хотел поменять автомобиль, но никак не мог собрать нужной суммы.

Краем поля он добрался до деревни, состоявших из нескольких домов, расположенных в ряд. Произведя несложные расчеты, Верещагин остановился у последнего забора. В глубине заросшего лопухами участка стоял дом. Хотя домом это небольшое строение можно было назвать лишь, обладая некоторым воображением, — ни крыльца, ни окон, сарай, да и только. На его призыв вышла женщина, неопределенного возраста, с бледным испитым лицом, и подошла к изгороди. Она долго с любопытством разглядывала Верещагина и его посеревшую от пыли машину. Наконец заговорила, обнажив лишенную передних зубов десну:

— Ну, чего надо?

— Здравствуйте! Лука мне нужен, он здесь живет.

— Был Лука, да весь вышел, одна Лукерья осталась, — сказала и сама же засмеялась своей шутке, добавила: — Он на хуторе.

— Где это? — спросил Верещагин.

— Там, — женщина показала рукой.

Верещагин повернул голову.

— В лесу?

— Да. Проехать можно!

— Спасибо. А как проехать?

— Вернетесь назад — и налево, увидите, там накатано.

— Спасибо.

— Пожалуйста.

В этот момент вдруг включился приемник, и из открытого окна автомобиля ударила залихватская песня группы «Дюна» что-то про Женьку, который скоро дошутится. Женщина повернулась и, пританцовывая, пошла к дому. Верещагин сел в машину, стал разворачиваться и услышал:

— Эй, дядя, погоди-ка.

Притормозил, обернулся, к нему шел молодой плечистый парень с лицом уголовника. Верещагин стал нащупывать под сиденьем монтировку, лихорадочно соображая, чем он мог обидеть женщину. Подойдя, парень сказал:

— Я покажу дорогу.

— А-а, — облегченно сказал Верещагин, — ну садись.

Проехали через поле, у первых деревьев начинающегося леса Верещагин остановился.

— Можно дальше проехать, — сказал парень, — или здесь оставьте, никто не тронет, короче, как хотите.

Въезжать в лес он не рискнул, колея закончилась, дальше все было покрыто травой, подвеска машины и так нуждалась в ремонте, закрыл двери и пошел за провожатым.

Дом стоял в лесу, одноэтажный, почерневший от времени, оседаая в землю, зарастая лопухами и крапивой, он словно пытался раствориться в природе. Редкая изгородь вокруг была тщетной попыткой хозяина обозначить свою территорию. Лес наступал неотвратно; молодые дубки, орешник росли как во дворе, та и за забором. Верещагин представил, каково здесь вечерами, ночью, в непогоду. Как нужно было не любить людей, чтобы поставить дом в этом месте. К полусгнившему крыльцу были прислонены две бамбуковые удочки. Здесь же стояла рассохшаяся без воды бочка. Провожатый вошел в дом и вскоре появился со словами: «Ща подымется, только вы ему похмелиться не давайте, а то начнется снова-здорово». Послышались неуверенные шаги, и на крыльце появился человек в сером твидовом пиджаке, надетом на майку, в синих в полоску широких брюках, покрытых сальными пятнами. Верещагин сначала узнал свои вещи, а уж потом самого. С момента их последней встречи Лука изменился — отпустил бороду, но в целом производил благоприятное впечатление. Борода округляла его лицо пьющего человека, скрывала прожилки сосудов, сеточки морщин. Щурясь от солнечного света, он долго разглядывал гостя, затем, узнав, спустился с крыльца и рухнул на колени. Парень, присевший в сторонке, презрительно смотрел на него. Верещагин подошел поближе, ухватил коленопреклоненного человека за локоть и попытался поднять его.

— Матвей, простите меня, — сказал Лука.

— Вставай, — попросил Верещагин.

— Нет, — твердо сказал Лука, — сначала простите.

— Хорошо, — раздраженно сказал Верещагин, — прощю.

Лука, крихтя, хватаясь за поясицу, поднялся и обнял Верещагина. Верещагин отвернулся. Запах, исходивший от Луки, был невыносим. Он отстранился, сделал шаг назад, оборачиваясь и приглашая Луку отойти в сторону. Лука последовал за ним нетвердым шагом.

— Что же ты слово не держишь? — спросил Верещагин.

Лука молчал.

— Камин дымит, кирпич я купил, как ты велел, лежит мокнет под дождем. Я тебя ждал в прошлую субботу, позапрошую.

— Я его переложу, — клятвенно заверил Лука. — А глину купил? Глина нужна. Если нет, я найду. Вот в следующие выходные приезжай за мной.

— А если будет дождь? Дорогу развезет, у меня, видишь ли, не трактор, я сюда не проеду.

— Если будет дождь, я выйду к мосту. В субботу ровно в девять.

— Может сегодня начнем?

— Сегодня исключено. Сам видишь, в каком я состоянии. Я слишком уважаю свой труд, чтобы работать в таком виде. У меня дрожат руки и глаз не сфокусирован. С вас денег не возьму. Это будет мой подарок вам. Я что хочу сказать: когда я надел ваш пиджак и брюки, у меня сразу появилась женщина. Вы меня вернули к жизни. Я воспрянул духом, вновь почувствовал себя мужчиной. Ведь я не сплю с женой. Я говорил вам, у нее есть любовник, Дегтярев. Давно не сплю, я ее презираю. Может, это случайное совпадение, но мне кажется, что это связано. Я даже ходил в этой одежде в театр. Помните, я приезжал перед Новым годом занимать деньги?

Лука либо привирал, либо путал. Верещагин хорошо помнил, что именно тогда он подарил ему пиджак и брюки. Но возражать не стал.

— Ну ладно, — сказал он, — поверю на слово, в очередной раз. Значит, в следующую субботу, ровно в девять у моста. — после затянувшейся паузы, зачем-то спросил: — Ну, а как вообще?

— Спасибо, Матвей, вашими молитвами. Вы знаете, я вас всегда уважал.

Верещагин улыбнулся.

— А кто этот парень?

— Сынок мой.

— Это он тебе ребро сломал?

— Он.

Они были знакомы около года. Прошлым летом Матвей неожиданно получил от дальней родственницы наследство — дом в деревне. Судьба распорядилась так, что ближе Верещагина у этой женщины никого не оказалось. Он был единственный, кто

хоть изредка навещал ее, впрочем, если говорить правду, для него это была возможность порыбачить, побродить по лесу, поохотиться, не утруждая себя проблемами ночлега. Тем не менее престарелая женщина, видимо, переоценив его родственные чувства, оставила ему после себя дом. Как мало нужно, чтобы тронуть одинокое сердце: редкие знаки внимания, открытка в праздник, какая-нибудь хохлома в день приезда или платок, сотканный в городе Павлов-Посад.

Дом был еще крепким, с красивым крыльцом, резными ставнями, с большим садом, в котором, все чаще наезжая, Верещагин даже посадил какие-то цикламены, настурции. Затем ему пришлось в голову устроить вместо печки камин, чтобы, сидя у окна со стаканчиком виски, предаваться высоким мыслям. Он разыскал печника (вернее, тот сам, постучав в дверь, предложил свои услуги), и тот разрушил служившую десятилетия печку и поставил камин, честно предупредив, однако, что тепла от него не будет.

— Камин — штука заморская, — сказал ему тогда Лука, — не для наших зим, он все больше для красоты, зря печку ломаете.

Но Верещагин настоял на своем. Они обменялись телефонами. Лука обретался в соседней деревне. Все лето он ходил по округе, предлагая работу. А зимой жил в Москве, клал плитку в домах. Клиентов у него хватало. Зарабатывал неплохо, да вот беда: был пьющим. Хотя и это полбеда, кто из мастеровых непьющий на Руси. Беда была в том, что и жена его употребляла вместе с ним, да и гостей норовила созвать, стоило ему объявиться с деньгами. Человеком Лука был незлобивым, легко прощал ей эту слабость. Возмущало его другое. Когда у него кончались заработанные деньги, жена вдруг превращалась в эдакую высоконравственную хранительницу очага, называла его пьянью, попрекала безденежьем, срамила перед детьми, хотя, как говорилось выше, употребляла огненную воду вместе с ним и погуливала с Дегтяревым. Осенью Верещагин обратился к Луке с просьбой облагородить новым кафелем ванную в квартире. Почти месяц, с перерывами на запои, Лука работал у него и как-то явился, жалуясь на боль в боку. Вечером в пивной он ввязался в драку: обидели женщину. Женщине, конечно, в пивной не место, но все же. Надолго, правда, его не хватило, после пары бутылок пива он сознался, что его хватил по ребрам родной сын. Третий день в комнате сына жила девица и не спускала за собой воду в туалете. Свои нравоучения Лука начал со слов Монтеня, мол, *«целомудрие — прекрасная добродетель, и, как велика его польза, известно всякому...»* Он не успел развить эту мысль. Сын скорчил рожу. Лука не удержался и толкнул его в плечо. В ответ сын врезал ему по ребрам.

— Жена меня еле оттащила, — сказал Лука. — Я мог бы его вырубить свингом, но не могу же я бить собственного сына. Вздохнуть не могу, — закончил свой рассказ Лука. Верещагин посочувствовал ему и одновременно попенял на недолжное воспитание. — А что я могу сделать, — возразил мастер, — месяцами меня нет дома. Халтуры, шашаки, так проходит жизнь моя. Детьми занималась жена, распутная и ограниченная женщина.

Верещагин сочувственно кивал головой. Лука был ему симпатичен с самого начала, когда появился в дверях с томиком Монтеня под мышкой и сказал, указывая на книгу:

— Выменял у алкаша на бутылку пива. Это ужасно, вот показатель культуры населения. До чего мы докатились, и это самая читающая страна в мире. макулатуру сдавали, чтобы книжки покупать.

Матвей едва сдержал улыбку. Лука сам сильно смахивал на алкаша, но впоследствии выяснилось, что мастер в самом деле очень начитанный человек, правда, он признавал только философские сочинения. Верещагин никак не мог к этому привыкнуть, его всегда удивляли изречения из Монтеня, Дидро, Вовенарга. Лука тяготел к французам.

Дидро он редко цитировал, хотя утверждал, что проштудировал его полностью.

— Дидро несколько размыт, — говорил он, — в нем нет той емкости и краткости, которая необходима для цитирования в обществе. Как говорил Ленин: «Краткость — сестра таланта». Нет, я, конечно, не умаляю достоинств Дидро, но все же.

— По-моему, это сказал Чехов, — неуверенно заметил Верещагин.

Лука не стал спорить.

— Не это главное, — сказал он.

Ему было около сорока, а выглядел он на все пятьдесят. Тощий, со впалой грудью, вечно скрюченный, хватающийся за поясницу и всякий раз рассказывающий о дисках, которые защемлены, грыже Шморля и нервных окончаниях, которые застужены. Как-то он признался, что жена изменяет ему.

— Почему же ты терпишь это? — спросил Верещагин.

— *«Терпение — это искусство питать надежду»*, — ответил Лука, пояснив, что это максима Вовенарга.

— Какую же надежду ты питаешь? — не унимался Верещагин. Лука пожал плечами. Вероятно, он не мог развивать те мысли, которые черпал в философских сочинениях.

Он принимал их как аксиому. — Одним терпением долго не проживешь, — заметил Верещагин.

— Ты прав, — легко согласился Лука.

— Чем же ты живешь?

— Честно говоря, я в отчаянии, — признался Лука и разразился следующим перлом из Вовенарга: — «*Отчаяние совершает не только наши неудачи, но и нашу слабость*».

Верещагин тщетно пытался привязать эту цитату к разговору, но спрашивать разъяснения не стал. Как работодатель он априори обладал некоторым чувством превосходства, ронять которое не стоило.

Сын Луки кашлянул, возвращая Верещагина к реальности.

— Обратите внимание на окружающую среду, — сказал Лука.

— Здесь очень красиво, — согласился Верещагин.

— А представьте, как хорошо сесть в прохладной тени деревьев, на зеленой траве и выпить грамм сто, сто пятьдесят русской водки... — Верещагин молчал. — В средней полосе России, — упавшим голосом добавил Лука и заискивающе спросил: — Ну, разве я не прав?

— Прав, конечно, прав, — сказал, наконец, Матвей. В багажнике автомобиля лежала бутылка водки, которую он прихватил на выходные, но нельзя было игнорировать просьбу сына Луки, который хоть и сломал отцу ребро в ответ на вмешательство в личную жизнь, но в данный момент пекся о его здоровье.

— Увы, с собой у меня нет, — развел руками Верещагин.

— Жаль, — понурился Лука.

Стояли в тягостном молчании. Надо было прощаться и уезжать. Поднялся ветер.

— Когда дует ветер и ерошит листву, деревья меняют свой цвет, — неожиданно для самого себя сказал Верещагин. — Почему-то мне от этого становится неловко, словно на девице задирают подол.

Лука полез в карман, достал мягую пачку «Примы» и стал закуривать.

— Как Голубка? — спросил он, затянувшись и выпустив дым из ноздрей.

— Голубка ушла от меня, — резко сказал Верещагин.

— Как ушла? — растерянно спросил Лука.

— Молча, даже дверь не хлопнула, — ответил Верещагин.

Лицо Луки сморщилось, и он вдруг заплакал. Печник видел Голубку лишь раз, и его слезы были, скорее всего, следствием повышенной чувствительности организма, измученного нарзаном, в нашем случае колодезной водой. Но Верещагин, глядя на его слезы, сам почувствовал резь в глазах. Не хватало еще прослезиться.

— Я бы воды выпил. Здесь есть вода? — спросил Матвей.

Лука отер слезы рукавом, высморкался, затоптал сигарету и сказал:

— Пойдемте, я угощу вас колодезной водой, ничего подобного вы в жизни не пробовали. Сынок! — крикнул Лука парню, угрюмо наблюдавшему за ними. — Мы пойдем к колодцу. Попьем и вернемся. Хочешь, иди домой. Скажи маме, что я скоро буду.

— Скоро — это когда? Завтра, что ли? — процедил сквозь зубы парень.

— Шутит, — сказал Лука, — пошли.

Двинулся вперед, огибая дом. Верещагин последовал за ним.

— Мать сказала, чтоб ты денег занял, — крикнул им вслед парень.

Лука остановился и смущенно посмотрел на Верещагина.

— Сколько? — спросил Матвей и полез в карман.

Лука пожал плечами:

— Десять или пятнадцать, — в субботу я отдам. Верещагин достал деньги, протянул Луке. — Возьми, сынок, — сказал печник, — отнеси маме.

Парень приблизился, молча принял деньги, повернулся, не благодаря, и ушел. Верещагин взглянул на собеседника, тот развел руками и сокрушенно покачал головой. Они ступили на лесную тропу среднерусской полосы, сырую, насыщенную влагой тропу. Впереди шел Лука, за ним Матвей.

— Здесь мало кто ходит, — говорил Лука, продираясь сквозь заросли чертополоха и крапивы, — точнее, никто не ходит, кроме меня.

— Что, и дальше так будет? — спросил Верещагин, потирая обожженный крапивой локоть.

— Не, это здесь возле дома бурьян, дальше свободно, почему же она ушла? — Матвей, не отвечая, стал закуривать сигарету. — Вы знали, что она может уйти? Тогда, зимой.

— Наверное.

— Вы меня спасли тогда. Мне было очень хреново.

— Мне тоже.

Это было зимним тоскливым утром, воя от одиночества, Верещагин от нечего делать позвонил Луке. Ему ответили, что тот не ночует уже третий день, и где он, неизвестно.

— Что же вы не ищете родственника? — спросил Верещагин.

— В первый раз, что ли, — беззаботно отозвались на том конце провода. Верещагин спросил адрес последнего места работы Луки и отправился на поиски. Ему надо было чем-то себя занять. Он долго плутал по новостройке, пока не нашел нужный дом. Это была двухкомнатная квартира на двенадцатом этаже. Лифт не работал. Верещагин поднялся по лестнице и долго стоял у неисправного звонка, восстанавливая дыхание. Дверь была не заперта. В квартире чувствовался стойкий табачный дух дешевых сигарет. Лука сидел в кухне, на пластмассовой пивной таре. У стены стояла раскладушка, на которую было брошено пальто, видимо, заменяющее постель. Лука был недвижим, с мрачнейшим выражением лица он смотрел на плинтус.

— Плохо? — не здороваясь, участливо спросил Верещагин.

— Москва — Петушки, — утрюмо блеснул эрудицией Лука.

— Похмелился бы, — подсказал Верещагин.

Лука умирающим лебедом повел рукой и указал на кухонный стол, где на разложенной газете лежал ломоть хлеба, искореженная ножом пустая банка из-под сардин с затвердевшими масляными каплями и пустая бутылка.

— Что это с тобой? — запоздало спросил Верещагин. — Ты же на работе не пьешь.

— Сорвался, — тихо молвил Лука.

У него было правило. Принимаясь за работу, он по мере возможности вел ее вахтенным методом. Дневал и ночевал на рабочем месте. Если же надобно было домой, он не мог уехать без аванса. Естественно, на следующий день на работу он не выходил. Этот заказ ему поступил от военачальника, купившего дочери двухкомнатную квартиру. В первый день он пошибал старую плитку, все разметил и поехал в столярную мастерскую за казеиновым клеем. У него был свой рецепт раствора, дедовский.

— Для того чтобы амальгама была прочной, — объяснял он заказчикам, — нужно замешать в определенных пропорциях казеиновый клей, ПВА и цемент.

Он любил рассказывать о секретах своего деда. Домой он не поехал, вернулся в квартиру, собирался поужинать, когда в дверь постучали. Он отворил и увидел на пороге молодую женщину.

— Здравствуйте, — улыбаясь, сказала женщина, — я буду здесь жить.

— Очень приятно, — ответил Лука и пригласил ее войти.

Она прошла по квартире. В комнатах стояли распечатанные упаковки импортной плитки, мешок цемента. Мешок был дырявый, и цемент кое-где просыпался на пол.

— Какой, однако, здесь свинарник, — заметила женщина.

— Я все убегу потом, — сказал Лука.

— Да нет, ничего. Это я так. Кстати, меня зовут Дашей.

— А меня Лука.

— Очень приятно. Можно я сяду?

— Конечно, — засуетился Лука, — только здесь стульев нет.

— Я на раскладушку, — сказала Даша. Она расстегнула пальто, достала зеленую пачку сигарет и, предложив мастеру, закурила. Лука от дамских сигарет отказался, достал свою «Приму» и присел на пластмассовый ящик.

— Да-а, — протянул Лука, когда уже молчание стало невыносимым, — мужики пошли, нечего сказать, даже ремонтом должна заниматься женщина.

— Это вы про кого?

— Про мужа вашего.

— Я не живу с мужем.

— Почему? — спросил Лука.

— Потому что он ненормальный. Прежде чем меня изнасиловать, по-другому это не назовешь, он должен наставить мне синяков, иначе у него не получается.

— Почему вы с ним не разведетесь? — спросил Лука, оторопев от такой откровенности.

— Отец против.

— Почему?

— У него свои интересы. Эту квартиру он купил, чтобы я заткнулась. Я согласилась и теперь молчу как рыба об лед.

Даша была женщиной из другого мира, недоступного для Луки. Она была хорошо одета, от нее струился запах дорогих духов. Когда ушла, этот запах остался и долго не давал ему заснуть.

— Одевайся, поехали, — сказал Верещагин. Лука, не говоря ни слова, поднялся и стал надевать пальто. — Заедем куда-нибудь, кофе выпьем, — предложил Верещагин.

— Мне бы грамм семьдесят, — виновато сказал Лука, нахлобучивая ушанку из

крашеного кролика.

— Пошли-пошли, — торопил Верещагин. Но Лука, почувствовав свою востребованность, вдруг стал непреклонен:

— Я не доеду, помру.

— В машине все есть, — успокоил его Верещагин. В машине Лука выпил, но легче ему не стало. И тогда он потребовал пива. Целью поездки он заинтересовался, когда оказался за пределами города.

— В деревню едем, — сказал Верещагин, проверим твой камин в действии.

В ответ Лука громко рыгнул.

— Вот хорошо, — блаженно вздохнул он, — отрыжка пошла, сейчас легче станет, — и рыгнул еще раз.

— Если можно, не так громко, — попросил Верещагин.

— Извините. Просто, когда отрыжка, легче становится.

— Физиология организма — это, конечно, святое, — раздраженно сказал Матвей, — но у воспитанных людей это как-то не принято.

Верещагин вдруг подумал, что Лука вовсе не тот, кем он его вообразил. Последний до последнего момента казался ему пусть спившимся, но интересным, начитанным, почти интеллигентным человеком. Эта радостная отрыжка вдруг отрезвила его. Какого черта он связался с ним?!

— Отрыжка — значит похмелье проходит, — назидательно сказал мастер. Видимо, его задело замечание, и добавил: — *«Как мало вещей, о которых мы судим здраво»*.\*

— Еще чих помогает, — зло посоветовал Верещагин, он уже был не рад компании, но, чтобы развернуться и отвезти Луку назад, лица не хватило. По дурацкой привычке доводить до конца любое начинание, даже неудачное, он продолжал наматывать километры на кардан. — Разомни табак и понюхай, — посоветовал он.

— Это лишнее. — возразил Лука. — Может сосуд в глазу лопнуть.

Весь остальной путь они проделали молча. После вчерашней оттепели слегка подморозило. Серое небо висело низко над дорогой. В воздухе летали редкие снежинки. Далеко впереди исходила черным дымом подожженная автопокрышка. Лука стал клевать носом, задремал, уронив голову на плечо, и проснулся, хлопнув носом, лишь когда машина остановилась переддомом. Верещагин, достав из багажника сумки, направился к дому. Лука, подняв плечи, следовал за ним. У крыльца Матвей остановился:

— Там в сарайчике дрова.

— Понял, — покорно сказал Лука и свернул к сараю.

Верещагин, отворив дверь, оставил сумки на крыльце, обошел вокруг дома, проверяя, нет ли следов незваных гостей (уж как-то очень быстро он вошел в роль собственника), открыл ставни и лишь после этого вошел в дом. Следом ввалился Лука; роняя поленья, он прошел к камину и с грохотом опустил дрова перед ним. Нащипав лучины, запалил огонь. Матвей тем временем выкладывал выпивку и съестное на стол. Лука с озабоченным видом ходил вокруг камина, трогал его ладонями, прикладывался ухом, выгаскивал и снова вставлял задвижки и, наконец, ликующе воскликнул:

— Какая тяга, а! Я готов расписаться на каждом кирпиче.

— Меня беспокоит вот это, — сказал Верещагин и указал на небольшую трещину в середине верхней части камина.

— Это ерунда, — успокоил его Лука и со знанием дела принялся объяснять:

— Портал большой, вы сами такой заказывали, разность температур, кирпич не прогревался. Я потом замажу. Если хотите, можно изразцами обложить. Будет очень красиво. Хорошо бы обмыть это дело.

— Успеешь. Сначала надо поесть приготовить, — сказал Верещагин. Лука начинал его раздражать. Но Лука стал настаивать и тогда Матвей сдался и налил по неполной стопке.

— Не, я так пить не буду, — обиделся Лука.

— Это еще почему? — едва сдерживаясь, спросил Верещагин.

— Надо по-человечески пить, по полной. А это все равно что... — Лука задумался, но, не найдя подходящего образа, выставил вперед указательный палец. — По полной надо, — Верещагин долил до полной. — Чтобы, как говорится, не дымил, — сдержанно сказал Лука и медленно, с достоинством выпил.

Бутылку они прикончили до ужина. Лука, как все алкоголики, почти ничего не ел, а у Матвея то ли от дыма камина, то ли от свежего воздуха разболелась голова. К тому же в доме было холодно, пылая, как домна, камин обжигал лицо, но совершенно не прогревал комнату. Дождавшись темноты, Верещагин подтащил поближе к огню кровать и лег спать, предложив Луке последовать его примеру. Но Лука отказался.

— Понимаете, в чем дело, — сказал он, — я чувствую какой-то необъяснимый

душевный подъем. Я не буду спать этой ночью. Я буду сидеть у камина, творения моих рук, думать, читать стихи.

— Только, пожалуйста, про себя, — попросил Матвей.

— Хорошо, не беспокойтесь, обещал Лука.

Верещагин тщетно пытался согреться и заснуть, головная боль усилилась, тяжелая кровь давила на мозг. Лука, несмотря на свое обещание, то и дело окликал его, ища подтверждения своим словам, не давая забыть.

— Я — человек высоких исканий, — говорил он, — разве это не видно по мне?

— Это бросается в глаза, — отвечал Верещагин.

— Судьба так распорядилась, — продолжал мастер, — что я стал печником. А ведь мог стать поэтом, знаете, какие я писал стихи. Вот послушайте, я их написал своей жене. Я ведь любил ее, — и Верещагин сквозь дрему слышал монотонный голос Луки:

*Как долго я тебя не видел,  
Как много хочется сказать  
И впережку со словами  
Лишь целовать да целовать,  
Смотреть в глаза с чуть грустным взглядом,  
Про все забыть, лишь ты одна...  
С тобою быть, с тобою рядом  
Шептать: моя, моя, моя,  
Да к истоскованной груди  
С любовью, нежностью прижать  
И, глядя волосы твои,  
Одной тобой дышать, дышать...*

Эти стихи мгновенно погрузили Верещагина в сон, но недолгий. Лука вновь окликнул его.

— Ты меня ни о чем не спрашивай, — попросил Верещагин, — говори, но меня не спрашивай. Я согласен с тобой во всем.

— Хорошо, — сказал Лука, но через минуту задал какой-то вопрос. Верещагин не ответил, и Лука затынул песню.

Среди ночи Матвея разбудил шум. Он открыл глаза. Камин догорал, бросая неяркие блики света. Чего-то не хватало. Не двигаясь из боязни стронуть затихшую боль в голове, Верещагин медленно сообразил, что перед камином нет спорбленной человеческой фигуры. Он поднялся и нашел Луку, лежавшего ничком на полу. Матвей разбудил его.

— Извините, вырубился, — деловито объяснил Лука и подсел к камину.

Матвей лег на свое место, но заснуть уже не мог. Лежал и смотрел на переливающийся жар в камине, на качавшегося из стороны в сторону, как китайский болванчик, Луку. К счастью, головная боль прошла, и можно было начать движение, что он и сделал, едва забрезжил рассвет. Растолкал печника и засобирился в обратный путь.

— Где же твой колодец? — спросил Верещагин, оглядываясь вокруг. И сзади, и спереди был сплошной лес. Ему расхотелось пить. Прохлада леса утолила жажду, да и беспокойство за оставленную черт-те где машину начинало глотать сердце.

— Не волнуйтесь. — успокоил его Лука. — Вон за тем ельником поляна должна быть. Там он и есть.

— Вообще это странно, что это за колодец. Кто его вырыл в лесу?

— Не знаю. Давно стоит. Наверное, тот, кто дом построил.

— А кто дом построил?

— Тот, кто колодец вырыл, наверное.

— Ты что, издеваешься?

— Да нет, что вы, каламбур просто.

Лес был полон птиц, невидимых. Где-то в стороне дятел стучал в сосновый ствол. За темным частым ельником оказалась проплешина, а за ней начинался молоденький березняк.

— Нет колодца, — сказал Верещагин.

— Попугал, наверное, — озабоченно оглядываясь, сказал Лука. — Поляна дальше.

— Сколько мы уже идем? — не унимался Верещагин. Лука ушел от ответа:

— У меня часов нет.

— Прошил?

— В ремонт отдал.

— Врешь.

— Честное слово. С места не сойти.

Сам Верещагин часов не носил. Принципиально. Себя причислял к богеме. Играл на гитаре в кабаке, хорошо играл, многие приезжали послушать его импровизации на джазовые темы. Он считал, что живет в ином измерении.

— Мне расхотелось пить, — сказал он, — пошли обратно.

— Ну, пожалуйста, — взмолился Лука, — совсем чуть-чуть осталось, очень хорошая вода, не пожалеете.

— По-моему, мы уже час идем, не меньше.

— Да нет, вам так кажется.

— Кстати, я так и не понял, почему ты сорвался.

— Куда сорвался?

— Зимой, я за тобой приехал, ты сказал, что сорвался, и стал рассказывать про молодую женщину, хозяйку.

— А-а, — помрачнел Лука, — вот вы про что. Она пришла на следующий день...

С утра Лука ходил в магазин, купил пару жигулевского и большую жирную селедку пряного посола. Он не любил пряный посол, но другой не было. Жалея, что нет картошки, чтобы сварить ее в мундире, он ел селедку с черным хлебом, облизывал пальцы и запивал это дело пивом. Пиво во время работы он всегда себе позволял, но не более. Как раз когда он облизывал палец, нарисовалась Даша (дурацкая привычка не запирает дверь).

Она стояла в дверном проеме, в длинной голубой дубленке, с плеч свисал платок с бахромой, на замшевых сапогах снег, прозрачные капельки блестели в волосах. Лука страшно смутился, оторвал от заменяющей скатерть газеты кусок и стал вытирать рот и пальцы.

— Извините, это опять я, — улыбаясь сказала Даша. — Дома тоска смертная. Все на работе, малыш в саду. Можно, я с вами посижу, посмотрю, как вы работаете?

Лука не просто согласился, он с радостью согласился, так как неосознанно ждал ее прихода. Но работать, увы, не смог. Едва слышный за спиной шорох ее одежды, запах, иногда ему казалось, что он слышит ее дыхание, — все это не давало Луке сосредоточиться. Руки тряслись сильнее обычного, резец, которым он обрезал кафель, придавая ему нужную конфигурацию, выписывал немыслимые кривые. Испортив несколько плиток, он стал злиться. В этот момент услышал ее голос.

— Зачем вы вставляете между плитками спички?

Лука обернулся. Даша сняла дубленку и сидела на пивном ящике в красной шелковой блузе с глубоким вырезом и немыслимо короткой черной юбчонке. Занервничал, прошел на кухню. Открыл вторую бутылку.

— Пива хотите? — хрипло спросил он. Даша согласно кивнула головой. Лука ополоснул стакан, наполнил и поднес. Она сделала глоток и розовым язычком стала слизывать с верхней губы пену. — Спички я вставляю, чтобы плитка не сползла, не перекашивалась. Чтобы зазор был ровным.

— А зачем зазор? Так мне не нравится, пусть будет без зазора.

— Зазоры я промажу белым цементом. Сейчас у меня его нет. Будет очень красиво.

— Ну как скажете, вам, конечно, виднее.

Наступило молчание. Пили пиво и разглядывали друг друга. Лука делал это украдкой, Даша глядела, не таясь. Чем было продиктовано внимание Луки, понятно. Но чем заинтересовал ее простой, невзрачный с виду мастерской, вот вопрос вопросов?

— Вы женаты? — наконец спросила Даша.

— Да, — кивнул Лука.

— И дети есть?

— Трое, сын и две дочери.

— Любите жену?

— Ненавижу.

— Почему?

— Она изменяет мне с Дегтяревым.

— Почему вы ее не задушите, как Дездемону?

Лука поглядел на свои натруженные руки, пожал плечами:

— Я человек мягкий, я воробья убить не могу, жалко. А потом — у нас дети.

— Вы так вкусно ели селедку. Можно я возьму кусочек? — попросила Даша.

— Кушайте, пожалуйста.

Она съела ломтик и добросовестно облизала пальцы. Видимо, из солидарности. Лука вновь приступил к работе. Долго перемешивал раствор, размечал линии, вновь перемешивал, примерял. Даша за его спиной рассказывала о своей не сложившейся супружеской жизни. Лука был взволнован и воспринимал ее речь урывками. Он помнит лишь отдельные фразы. Например, то, что муж живет у своих родителей, а она у своих. И эта квартира куплена для того, чтобы помирить их. Или то, что мужа

совершенно не интересует ребенка. А мальчику пять лет, и ему не хватает отца...

Рассказывая о дальнейшем, Лука вовсе взволновался, остановился, сорвал растущую зелень. Это была крапива. Верещагин хотел предупредить его, но не успел. Лука выругался и стал дуть на обожженную ладонь.

— Мой муж наркоман и импотент, — говорила Даша. — Иногда он заявляется, чтобы исполнить супружеский долг. У него не получается, и он избивает меня.

— Разведитесь с ним, — робко предложил Лука.

— Увы, свекор — начальник моего отца. Карьера его полетит к черту, а значит, благосостояние нашей семьи. У меня не было мужчины восемь месяцев. Я уже на стелку лезу.

— Почему? — спросил потрясенный Лука. — Вы такая интересная женщина.

— Не знаю почему. Так получается. Нет, вы не думайте. В мужчинах недостатка нет. Но я не могу. Они говорят неправильные слова. Один человек пригласил меня в гости и сказал: «Я буду покупать тебе красивые шмотки, у меня есть деньги, а ты будешь спать со мной, когда я захочу». Я дала ему по морде и ушла. Не знаю, что больше меня возмутило, то, что он предложил шмотки за постель, или то, что спать мы будем — только когда он захочет. Идиот, а ведь скажи правильные слова, соврал бы что-нибудь про чувство, мог бы иметь меня просто так, по любви. Он мне нравился, — Даша поднялась...

Лука вернулся на кухню. От долгой неподвижной позы он почувствовал боль в спине. Сел на корточки и закурил. Он слышал шорох за спиной, вжикание «молний» — она надевала сапоги, — металлические звуки кнопочек-застежек. Обернулся он только, когда хлопнула входная дверь. Даша ушла. В душевном смятении Лука просидел около часа. О работе не могло быть и речи. Он оделся и вышел на улицу. Было тепло и сыро. Большими пушистыми хлопьями валил снег. Тающая снежная масса разъезжалась под ногами. Ближайший магазин был закрыт, до следующего Лука шел два квартала. Их было всего два в новом микрорайоне. Во втором было только дорогое марочное вино. Лука, тихо матерясь, пошел обратно. Исчерпав запас слов, он некоторое время шел молча. Затем стал подбирать приличествующее своим мыслям выражение и остановился на словах Монтеня: «*Она сделалась госпожой своих страстей и желаний*». Промочив ноги до щиколоток, он вернулся к исходной точке и тут вспомнил, что продажей водки, как приработком, промышляют таксисты. Лука обошел вокруг дома. Такси в поле зрения не оказалось, но с торца дома стояла большегрузная машина с киевскими номерами. Капот машины был задран. Водитель что-то искал в моторе. Лука подошел и потянул его за штанину.

— Бисова дитына, — сказал шофер, садясь на радиатор.

Лука не стал уточнять, к кому обращены эти слова, к нему или к машине. Он вообще был человек не гордый.

— Водка есть? — без обиняков спросил Лука.

— Нема, — ответил шофер. Страдание, отразившееся на лице Луки, было столь велико, что водитель не выдержал. — Горика е, — поспешно добавил добрый малый.

— Продай, — с надрывом в голосе сказал Лука.

Продать водитель отказался, но предложил распить вместе. Самогон был высочайшего класса, правда, с желтизной, как ямайский ром, и с ароматом, настоящий на калгановом корне. Одну бутылку они уговорили в кабине. Закусывали украинским домашним салом. Говорили про жизнь. Вторую прикончили в квартире. Закусывали сардинами, бланшированными в масле. Говорили про жизнь. Затем шофер, убоявшись за сохранность груза, ушел ночевать в машину. Лука же долго бродил по квартире, курил, думал и в какой-то момент отключился. Утром ему не хотелось жить. В этом состоянии его и застал Верещагин.

— Чувство потери, — сказал Лука, — чувство потери владело мной все это время. Чего-то я не понял. Она ждала от меня поступка, какого, я не знаю. Я потерял самое главное, что могло быть в моей жизни. «*И не будете желать жизни, о которой так сожалеете*». Больше я ее не видел, — Лука остановился и как правоверный мусульманин провел ладонями по лицу. Матвей молча смотрел на него. — Посмотрите, господин Верещагин, как здесь красиво, — Лука повел рукой. — Прошлогодня прелая листва не может воспрепятствовать росту молодой зелени. Она прет сквозь нее. А мы топчем подошвами и то, и другое. Мы ничего не знаем. Мы движемся вслепую по этой жизни. Может быть, нам не следует делать движений вообще, чтобы не спутнуть, не сломать.

Тут на лице Луки появилось выражение крайней экзальтации. Страшное подозрение закралось в сердце Верещагина. Лука определенно был ненормален. И как это ему раньше не бросилось в глаза? Или тогда был нормален? А сейчас что? Белая горячка? Куда он его ведет? Верещагин не то чтобы очень испугался, вернее, испугался, но несильно, немного заходело внутри, а не более. Лука уступал ему в телосложении. С таким он в два счета справится.

Вдруг Лука воздел руки кверху и закричал:

— *«О солнце! О небеса! Что вы такое? Достоин ли нашего почитания мир, наготорым вы царите, вы, слепые орудия, бесчувственные рычаги в глянях Творца».*\*

Испуганная ворона, хрипло каркая, сорвалась с места и пролетела над ними.

— Скоро ли колодец? — после недолгого молчания спросил Верещагин.

— Колодец где-то рядом, скоро мы его увидим. Да дело-то не в колодце. Я просто хочу сказать, как неправильно все устроено в мире. Бог дал нам жизнь, но не сказал, как себя в ней вести. Ему, наверное, это доставляет удовольствие. Глядит на нас с высоты и усмехается.

Верещагин неестественно засмеялся и сказал:

— Хуже, когда знаешь, что делать, когда уверен в своей правоте, а потом выясняется, что ты самонадеянный болван.

Лука застонал, схватился за спину и, кряхтя, сел на корточки, прошептал:

— Надо передохнуть.

— Да, — легко согласился Верещагин, — надо передохнуть, я так устал, я безумно устал, — последние слова он произнес с надрывом. Лука удивленно поднял на него глаза. Он полагал, что Матвей находится под впечатлением его рассказа. Но эти реплики показали, что он думает о чем-то своем. Это немного задело Луку, он рассчитывал на больший эффект. Следующая фраза еще больше удивила Луку. Она была вырвана из контекста, красива и совершенно неуместна здесь, на лесной тропе. Дословно Верещагин сказал следующее: — Случайная девица, разделившая со мной ложе, спросила, когда, засыпая, я попросил повернуться ко мне спиной и обнял ее: «С какой из своих женщин ты так спал?» Этот вопрос застал меня врасплох. Отдав должное ее догадке, я почувствовал себя школьником, которого уличили в неблагоприятном поступке.

Чувствовалось, что Верещагин много раз повторял эту фразу про себя, прежде чем появилась возможность сказать ее вслух. Выговорив на одном дыхании, он посмотрел на Луку. Тот молча осмысливал услышанное, и тогда Верещагин стал говорить, выплескивая то, чем жил последнее время:

— Мне не хотелось признаваться в своей слабости, но именно случайность ее появления здесь и безразличие, сквозившее в голосе, позволили мне сказать правду. Хуже всего было то, что, сознавшись в этом... я вновь стал беззащитен. А ведь я уже не думал о ней, не страдал от ее отсутствия, но тело предало меня. Как оказалось, ему не хватало позы, в которой мы засыпали. Оно тепло хранило память. Что такое вообще любовь! — риторически воскликнул Верещагин. Затем стал классифицировать любовь. Он развивал теорию двойственности. По его словам, выходило, что в любви присутствуют два начала — женское и мужское. Лука против этого не возражал. Он даже выдал ремарку (и мы не лыком шиты), мол, по-научному это называется Инь и Ян. — Первый — материнский, продолжал Верещагин, — женское начало. Когда мужчину оплетают паутиной заботы и лишают уверенности в себе. Мужчине кажется, что он не проживет без этой женщины.

— *«Кто должен покорствовать, тот и на троне будет покорным»\**, — встрял Лука.

— Я, кажется, тебя не перебивал, — недовольно сказал Верещагин.

— Извините, пожалуйста.

— Второй — отцовский, мужское начало. Когда женщина зависит от тебя, как ребенок. И если в первом случае у мужчины есть надежда на то, что найдется что-нибудь, что вернет ему уверенность в себе, то во втором ему уже не спастись. Ничто не заменит жалости. Эта добродетель опасна для личности.

Голубка появилась в его жизни зимним вечером. Кто-то привел ее на вечеринку, которую он устроил для друзей. Это была красивая маленькая женщина с ангелоподобным лицом. Она пела красивым голосом трогательные романсы, загадочно улыбалась. В довершение ко всему опрометчивохватила полстакана водки, поднесенные каким-то услужливым идиотом, и схватилась за первого попавшегося мужчину. Случайно (причем сейчас он уже не уверен в этом) им оказался Верещагин. Ей было плохо. Он носил ее на руках в ванную, умывал холодной водой. Всю ночь она держала его за руку, и, когда он пытался уйти к своей подруге, которая спала в соседней комнате, кричала: «Не уходи, мой родной, мой мальчик, не бросай меня!» То есть она производила впечатление не совсем нормального человека. И это оказалось именно то, к чему Верещагин не был готов. В эту ночь он не спал ни минуты. Когда Голубка извергла из желудка все запасы желчи, засыпая, вернее, надолго теряя сознание, иначе это нельзя было назвать, она взяла с него слово, что он, оставив ее, не

\* Вовенаг

вернется к своей даме. Верещагин до сих пор не может понять, почему он подчинился и до утра просидел на кухне, щипля струны гитары и напевая еле слышно песню «Битлз» «Something in the way». Первой, едва рассвело, ушла подруга. Она благополучно проспала ночные страдания, ни о чем не ведала, а то, что Верещагин не пришел к ней ночью, отнесла к причудам служителя Мельпомены. Затем, многозначительно переглядываясь, стал расходиться народ. Верещагин почему-то решил, что все спали и никто ничего не слышал. Он заблуждался на этот счет. Затаив дыхание, гости ловили каждое слово, рождающееся в темноте. Это было интересней, чем в кино. Это было захватывающее действие! Взгляд в замочную скважину. Голубка осталась у Верещагина. Видимой причиной была ее слабость. Когда они остались наедине, Голубка, нисколько не стесняясь, так сказать, отбросив ложную стыдливость, обнажилась и рухнула в постель, успевшую остыть после верещагинской подруги. Матвей, сидя напротив, разглядывал ее. Она была похожа на затравленного зверька. Женщина-подросток с плохо развитой грудью, с темными кругами под глазами, из которых сочилась плохо скрытая ненависть. После бессонной ночи Верещагин не чувствовал ни малейшего желания, но все же переспал с ней, из спортивного интереса. Когда он лег рядом, Голубка произнесла фразу, которую Верещагин, к сожалению, пропустил мимо ушей.

– Имей в виду, это не ты меня употребляешь, а я тебя.

– Как скажешь, дорогая, – засмеялся Верещагин.

Верещагин был свободным человеком. Свободным во многих отношениях. К примеру, жил один в шестикомнатной квартире. Кому-то это показалось бы маловероятным в советской стране, где, как известно, статистикой подсчитано до десятых долей, сколько достаточно человеку метров для проживания. Но бывает всякое. В нашем случае все было просто. Дом был старый, дореволюционной постройки. Шестикомнатная коммуналка, из которой жильцы, получая квартиры, постепенно выезжали. Со временем Матвей остался один в шести комнатах. Новых соседей не было, потому что дом шел под снос. Так он и жил – кум королю, сват министру. Близких друзей у него не было, это при том, что редкий вечер обходился без гостей, без выпивки, песен, разговоров. Но в любой пирушке он как бы держался на расстоянии, никого не допуская к себе. Наверно, поэтому в те часы, когда ему действительно была нужна родственная душа, таковых рядом с ним не оказывалось. В этом смысле он был одинок. Его любили женщины, ведь он был музыкантом. Людям этой профессии дано создавать у людей иллюзию собственной значимости. Это относится к исполнителям, не к творцам. Людям свойственно, пусть неосознанно, отождествлять пианиста с той чудной музыкой, которую извлекают его пальцы, хотя написал ее совсем другой человек. Всем это известно, и тем не менее автор как бы нереален, а мы видим перед собой живого человека, его одухотворенное лицо, вспотевшее от трудов. Наверное, это и правильно, так должно быть, по Марксу, разделение труда.

Верещагин был талантливым исполнителем джазовых мелодий. Он играл на гитаре, рояле, саксофоне. Он стриг купоны с композиций Лестера Янга и Коумена Хокинса, Чарльза Паркера и Джимми Лансфорда. Женщины его желали, как модную одежду, которую надо надеть на себя, чтобы успокоиться. Благодаря всему этому Матвей казался более красивым, состоятельным и умным мужчиной, чем был на самом деле. И, как в цепной реакции, это уже в свою очередь притягивало к нему женщин. В каждом оброненном им слове они искали подтекст, какой-то скрытый смысл, уверенные, что Верещагин не говорит пустых фраз. И все же... Как бы ни гордился Верещагин своим успехом у женщин, в глубине души понимал, в чем тут дело, и потому так легко расставался с ними, не привязываясь ни к кому. С Голубкой он оказался совершенно беззащитен перед ее беззащитностью. Ибо нет более беззащитного человека, чем сумасшедший. В начале их романа он много раз пытался расстаться с ней. По ряду причин. Голубка была совершенно не приспособлена к жизни. Верещагин, патологически ленивый человек, ненавидел необходимость ежедневно совершать действия по уходу за собственной персоной. Теперь же он был вынужден заботиться и о Голубке. Она изводила Матвея бессмысленной ревностью. Стоило раздаться телефонному звонку, как она замирала или старалась невзначай подобраться поближе, чтобы не пропустить ни одного слова. Она устраивала затяжные скандалы. По листу перебирала нотные тетради в надежде найти между ми и фа доказательства измены. Но стоило Верещагину сказать: «Расстаемся, уходи», – она тут же пыталась выброситься из окна либо вскрыть себе вены.

– Я так люблю тебя, – кричала она. – Я не буду жить без тебя.

Иногда, расвирепев, Матвей выбрасывал ее вещи в коридор. Тогда она часами сидела у запертой двери, и если в первый час Верещагина бесила ее склонность к самоуничтожению, то через два часа, поостыв, он начинал думать, что эта собачья преданность – лучшее доказательство верности и любви. Верещагин убеждал себя в том, что грех отталкивать человека, способного на такое чувство. Так они прожили два

года. Верещагин был связан ее зависимостью от него. Более того, к тому времени, когда она ушла, Матвей, как наркоман, зависел от ее зависимости, от ее безумной любви, он уже не мог без этого. Первопричиной его любви была жалость (как оказалось, он любил ее), и он досуха исчерпал ее в их отношениях. Он испил эту меру за двоих — и тем самым освободил Голубку от жалости. На нее эта добродетель не распространилась. Оно не пожалела Верещагина, когда он нуждался в этом.

Матвей замолчал и сел на поваленное дерево. Устало провел рукой по лицу.

— Что было потом? — спросил Лука.

— Потом? — переспросил Верещагин и повторил: — Потом. Потом ничего не было. Собственно, я уже чувствовал, что конец близок. Долгое время я наблюдал, как умирает ее любовь. Наблюдал, не желая ничего изменить. Все должно происходить естественным образом. В какой-то момент, обнимая ее, я почувствовал, как она ускользает от меня. Я ничего не сделал, чтобы удержать ее. Нельзя заставить человека быть с тобой, более того, я сам почувствовал внутреннее отторжение. Это счастливое свойство моего характера. Тем не менее терять близкого человека невыносимо тяжело. В один из дней я вернулся из гастрольной поездки и обнаружил, что ее вещей нет больше в моей жизни, равно как и ее самой. Я не случайно сказал сначала о вещах. Иллюзорность. Вещи человека создают иллюзию его присутствия. Пиджак на спинке стула. Я не стал искать ее. Я был уверен, что она вернется, что она не сможет без меня. Я тишил себя злобой. Я ждал ее. Я слушал лифт, гадая, на каком этаже он остановится. Грохот металлической двери заставлял чаще биться мое сердце. Как я жил все это время? Не знаю. Я еще не отдавал себе отчета в том, что случилось. Чувство злости во мне было сильнее, чем чувство потери. Через месяц я понял, что она не вернется. Но у меня еще была власть над Голубкой. Я это чувствовал. Наши общающиеся сосуды еще не прервались. Я еще мог позвонить и вернуть ее.

— И вы не позвонили ей? — спросил расстроенный Лука.

— Позвонил. Позвонил, услышал ее подавленный голос, повесил трубку. Я получил подтверждение моей прежней власти над ней. Это оказалось для меня важнее, чем она сама. Я промолчал, ибо, заговорив, признался бы в том, что мы с ней равны, я бы потерял свое превосходство. Я не мог этого сделать. Она должна была сама вернуться. Но мне было тяжело так поступить, я страдал, я был один, ведь я бросил всех своих женщин ради нее.

— *«Ты сам обдумываешь все это, а пока вернись со мной в аллею терний»*, — вдруг сказал Лука.

— Что-что? — переспросил Верещагин.

— *«В аллею терний»*, — повторил Лука. — Дени Дидро.

— Да, — бездумно согласился Верещагин. — Я был в аллее терний.

— *«Самая великая сила духа утешает нас медленней, нежели слабость его»*, — продолжал Лука.

— А это кто? — спросил Матвей.

— Вовенарг.

— Еще что скажешь?

— *«И не будете желать жизни, о которой так сожалеете»*.

— Ты, кажется это уже цитировал. Вольтер? — раздражаясь, спросил Матвей.

— Монтень. Извините, пожалуйста.

Верещагин достал сигареты и долго чиркал спичкой, закуривая, продолжал говорить:

— Я не знал, что делать. Сидеть и ждать было невыносимо. Я все время находился в движении. В любое время мог сорваться и уехать. Не так далеко. От себя не убежишь. Всегда оставлял за собой возможность вернуться. За городом, в заброшенной деревне, у сложенного тобой камина, я сидел в полном одиночестве до глубокой ночи, затем выходил на крыльцо и смотрел на дальнее поле, покрытое разноцветными сорняками. На нем лежало белое облако, и мне хотелось бродить в нем. Но никуда я не шел, закрывал за собой дверь, опускал отяжелевшую от вина голову на подушку и забывался тяжелым сном, — Верещагин замолчал и после недолгой паузы спросил: — Что ты имел в виду, говоря про силу духа и его слабость?

— Человек существом эгоистичное, — с готовностью ответил Лука, — и поэтому горю не стоит сопротивляться. Надо рыдать, валяться, лезть на стену. В своих страданиях он обязательно дойдет до той степени, когда ему станет жаль себя. И он начнет успокаиваться. Это как раз ваш случай. Первопричиной вашей любви была жалость к ней.

— Где же этот чертов колодец? — с отчаянием в голосе спросил Верещагин.

— Тихо, — испуганно сказал Лука и приложил указательный палец к губам, — не говорите так, иначе мы его никогда не найдем.

— Почему?

— Вы знаете, я сам не могу понять, в чем тут дело. Этот колодец с характером. Иной раз делаешь несколько шагов — и вот он. А то ходишь, ходишь, целый день его ищешь.

— Пить меньше надо.

— При чем здесь пить. Не верите, жену мою спросите.

Верещагин вспомнил бледное, испитое лицо женщины и остался при своем мнении, Впрочем, не выражая его вслух.

— Колодец уже близко, — сказал Лука, — я чувствую это. Пойдемте, я расскажу вам кое-что о своей жизни. У моей мамы было шестеро детей, и она утверждала, что никто из нас не рождался так тяжело, как я, никто не орал так, как я. Я не хотел рождаться. Видимо, я уже тогда подозревал, что не ждет меня на этом свете ничего хорошего. Что, собственно, я видел в этой жизни? Молодым, красивым юношей...

— Что это там? — оборвал его Верещагин.

— Где, где? — засуетился Лука.

— Вон, впереди, дом какой-то, видишь крышу?

— Да-а, — озабоченно протянул Лука, — действительно, дом какой-то.

— Твой дом, — мстительно сказал Верещагин.

— Ну да, мой, — расстроился Лука.

— Значит, мы сделали круг и вернулись к дому.

— Выходит, так, — вздохнул Лука.

— И что же дальше будем делать?

— Пойдем обратно, — деловито предложил Лука.

— Ну уж нет, с меня хватит. Твоя колодезная вода у меня уже из ушей льет. Я поехал домой. До свидания.

Матвей быстрыми шагами двинулся вперед.

— Подождите, — отчаянно воскликнул Лука.

— Ну, что же еще? — Верещагин остановился.

— Стихи хочу вам прочитать про колодец. Недавно написал. Я еще никому их не читал.

— Извини, у меня нет времени.

— Сейчас, одну минуту... — Лука полез по карманам и извлек лист бумаги.

— Прочитайте дома, а в субботу я заберу, — Матвей взял стихи и сунул в карман.

— Может быть, заедем ко мне в деревню? — не унимался Лука. — У меня там тетрадь осталась. В ней стихи еще про демократию и про инфляцию.

— Нет, нет, — запротестовал Верещагин, — я с политической дел не имею, а потом — до субботы эти едва успею прочитать.

— Ну, как знаете. Счастливо вам.

— Пока, — Верещагин махнул рукой и направился к своей машине.

В следующую субботу с утра лил дождь. Верещагин долго ждал Луку у моста, но тот не явился. Через неделю Матвей заехал за ним в деревню, благо была хорошая погода. Жена мастера, выйдя на зов, сказала, что Лука работает в соседней деревне. В следующие выходные Матвей застал печника дома, но тот был пьян до такой степени, что говорить с ним было бесполезно. Так продолжалось все лето. Затем настала осень. Погода испортилась. Начались затяжные дожди, и Матвей оставил свою затею переложить камин, но долго еще злился, вспоминая, как обошелся с ним Лука. Как-то в разговоре с общим знакомым Верещагин помянул печника недобрым словом, но знакомый предостерег Матвея от брани, сообщив, что Лука умер. Умер так, как умирают многие алкоголики — во сне. От чрезмерного количества выпитого его сердце остановилось. Ведь он был слаб здоровьем. Злость Верещагина тут же исчезла. Он стал тих и печален. И был печален весь оставшийся вечер, разыскивая в своей огромной квартире стихи Луки, которые так и не удосужился прочесть. Верещагин сожалел о своей злости и бранных словах, просил у Луки прощения и не понимал, столкнувшись близко со смертью, как это возможно, чтобы человек, которого ты знал лично, разговаривал с ним, вдруг перестал существовать, что его больше нет. Стихи все же он нашел, вот они:

*Где-то, я не знаю где, а скорей всего — нигде  
Существует мой колодец с мелкой рябью на воде.  
Он бревенчатый, с верхушкой, как разложенную книжкой  
Цепь на воротах, ведро, с крупной вмятиной оно,  
Под железный грохот цепи опускается на дно,  
Где вода как влага жизни, упоительна прохлада,  
Дней, придуманных отрада, ароматный воздух сада.  
Где же мне его найти, сколько надобно пройти,  
Счастья чтоб глоток холодный, жизни смысл своей найти?*